



Д. В. ФИЛОСОФОВ

Конец Горького

I

Две вещи погубили писателя Горького: успех и наивный, непродуманный социализм. Я говорю «погубили», потому что последние его произведения — «Варвары», «Враги», «В Америке», «Мои интервью» и т. д. нанесли такой урон его литературной славе, обнаружили признаки такого серьезного разложения его дарования, что в возрождение писателя Горького уж как-то мало верится. Успех у Горького был совершенно особенный. Такого раболепного преклонения, такой сумасшедшей моды, такой безмерной лести не видали ни Толстой, ни Чехов. Горький был герой дня, «любимец публики», нечто вроде модного оперного певца, который в течение коротких лет кружит голову своим поклонникам и затем, потеряв голос, сходит со сцены, погружается в забвение. Увлечение Горьким психологически понятно, легко объяснимо. Слишком вовремя появился он, слишком глубокие струны задел он, чтобы не встретить отклика во всей новой России, которая только что начинала просыпаться. Широкой публике казалось, что дарование Горького неисчерпаемо, что развитию его нет пределов, и она подстегивала Горького, щекотала его самолюбие, сделала его своим кумиром. Она не давала ему возможности сосредоточиться, оглянуться, понять самого себя, меру своих сил, характер своего дарования. Драма «На дне» была высшая точка творчества Горького; после нее начинается падение. По всей Европе, можно сказать по всему земному шару, распространяются произведения Горького, даже самые неудачные, и весь мир видит, как писатель все ниже и ниже падает, как он лежит почти «на дне» невероятной банальности и претенциозной риторики.

Зрелище тяжелое и мучительное. Но толпа везде толпа. Она вознесла Горького, окружила его лестью, казалось, всецело подчинилась ему, а в сущности поработила его, сделала его своим служителем и рабом. Это в порядке вещей, винить жаждущую, но избивающую пророков толпу нечего. Она невинна в своей наивной жестокости. «Он наш, он наш», — с упоением кричит она и раздирает личность на мелкие кусочки, чтобы всем, всей толпе, досталась хоть одна кроха. И царь делается рабом. Горький искренно думал, что он властитель дум и сердец, что он независим, никому не подвластен, и незаметно для себя потерял даже тень свободы. Отмеренные ему судьбою запасы личных сил не выдержали напора безличной стихии и развеялись по ветру.

Здесь великая ответственность падает на русскую критику. Она не поддержала Горького, не помогла ему, сделала все, чтобы он потерял сам себя. Любовь к человеку не в том, чтобы жалеть его, потакать ему, баловать его. Любовь прежде всего требовательна. Зная цену человека, она властно требует, чтобы человек проявил всю меру сил своих, она хранит его от всего, что силы притупляет, что мешает их развитию.

Наша критика не выказала никакой любви к Горькому. Ни разу она не посмотрела на него, как на цель, как на абсолютную личность; она делала из него средство. Критики Горький, за редким исключением, и не видел. Он видел лишь критическую истерику, кликушечьи вопли той самой толпы, которая боготворя — губила его. Теперь же, когда Горький сел на мель, когда помощь ему нужна больше, чем когда-либо, критика от него равнодушно отвернулась. Обозревая русскую литературу за 1906 год (см. газ<ету> «Товарищ»), г. Горнфельд, в общем очень оптимистически настроенный, мимоходом замечает, что последние произведения Горького встретили единодушное неодобрение критики. Как будто есть только «произведения» и нет за ними живого лица, как будто «неудачные произведения» что-то совершенно случайное, как будто для тех, кто относился к Горькому серьезно, требовательно, нынешний его срыв нечто непредвиденное и неожиданное. Окружили человека лестью, затемнили сознание, не уберегли его дарования, поощряли самые дурные и слабые его свойства, а затем в тяжелые для него минуты отвернулись, не сделав ни малейшей попытки разобраться в тех причинах, которые привели Горького к провалу.

II

Успех не дал Горькому времени и сил для необходимой внутренней работы мысли, остановил рост его сознания. Оглушенный внешним шумом успеха, он не сумел разобраться в собственных идеях и ощущениях. Он даже не увидел трагической, непримиримой антиномии, составляющей сущность его творческой линии. Его босяк незаметно превратился в социалиста, как будто это превращение естественно и органично, как будто мирозерцание босяка соединимо с мирозерцанием социалиста, как будто здесь нет необходимой пропасти, вековой загадки, которую человечество не разрешило и до сих пор.

«Босяк» вообще, и, в частности, «босяк» Горького — понятие отнюдь не только социальное. Если бы босяки Горького были лишь представителями пятого сословия, образчиками русского «Lumpen-Proletariat'a», они имели бы известный интерес с точки зрения бытовой, социологической и только.

Горький показал нам новые стороны современного русского быта, но значение его, как писателя, этим не исчерпывается. Не быт сущность дарования Горького, а личность. В новых формах, в новой обстановке, в босячестве, Горький показал всю ту же вечную личность человека, вернее, вечную жажду личности. Хочу быть личностью, человеком, — вот постоянный бессознательный вопль его босяков; «я» — вот альфа и омега их мирозерцания, остальное — обстановка, фон, и смотреть на горьковского «босяка» с социально-экономической точки зрения было бы слишком узко. Пробуждение личности, ощущение себя как чего-то первичного, особенного, неразложимого, ничему в корне своем не подвластного, — вот идейная основа «босячества».

«Босяк» — это особый вид автономной личности, своего рода анархист. И как в анархическом принципе есть вечная правда о личности, так и в горьковском «босяке» есть частица этой правды. Анархический индивидуализм декадентства, штирнерианство, ницшеанство, словом, туманный анархизм культурного меньшинства, нашел свое дополнение в самых низах культуры, в ее так называемых «отбросах». Наверху — сознательный «культ личности», внизу — бессознательное, инстинктивное обожествление ее, но подкладка и тут и там одинаковая: «я» — вот единственное реально-существующее данное. Когда такой «примат» человеческого «я» провозглашает человек культурный, т. е. связанный тысячью нитей, — тра-

дицией, историческими переживаниями, эстетическими законами — пугаться особенно нечего. Культура — в безопасности, ей не грозит разрушение в прямом смысле этого слова. Один «босьяк» говорит у Горького: «Мне тесно, стало быть, должен я жизнь раздвигать, ломать и перестраивать... А как? Вот тут мне и петля... не понимаю я этого, и тут мне конец». В сущности, почти то же говорит всякий декадент, которому тоже «тесно», который тоже хочет «ломать и перестраивать», но не знает как. Это незнание — парализует всякое действие культурного индивидуалиста. Он обрекает себя на «пленной мысли раздражение»¹ и «деятельность» его фатально сводится к литературе более или менее порнографического содержания. «C'est de la litterature»*. Совсем другое у его собрата из низов общества. Здесь незнание как перестраивать не может остановить «ломки», и когда босьяк говорит «пусть все скачет к черту на куличики», или заявляет, что ему хочется «раздробить всю землю в пыль», то эти угрозы имеют гораздо больше реального значения, чем просто нелепые мечтания декадентов о «театре будущего», о «возрождении культа Диониса» или о «поклонении богу Яриле». Здесь уже не литература пресыщенных интеллигентов, а подлинный мускулистый кулак человека-полузверя. Сила у него громадная, инстинкт праведный, и нет только рычага, к которому он мог бы приложить силу. «Должен я жизнь раздвигать, ломать, перестраивать. А как? Не понимаю я этого, и тут мне конец». Эта пробудившаяся сила может послужить или добру, или злу, приложиться к рычагу или дьявольскому, или божескому. Опасность в ней великая, и когда Мережковский боится этой новой силы — он прав. «Грядущий хам»², «внутренний босьяк», кроме своего «я» никого и ничего не признающий ни на земле, ни на небе, сулит сюрпризы не очень приятные. Но этот страх становится у Мережковского какой-то предвзятой идеей, источником совершенно неосновательного пессимизма. Индивидуалистический анархизм босьяка лишен содержания. Он есть первичное данное пробуждающегося сознания. Если верить в смысл исторического процесса, во внутреннюю его идею, то надо верить и в то, что эта громадная сила человеческого «я», эта переходная ступень от стадного животного к человеческой индивидуальности, к отличности, обособленности — найдет свое положительное содержание, что эта потенциальная сила станет актуальной, приложится к рычагу добра. Мережковский же довременное, так сказать, исто-

* Это из области литературы (фр.). — Ред.

рическое отсутствие содержания в индивидуальном анархизме босяка принимает за самую его сущность, формальный признак за материальный, неизменный и постоянный. В стадо зверей, стригомых овец, содержания никакого не вложишь. Первое условие для превращения стада в соединение отдельных личностей — это чтобы овцы сознали себя существующими, каждая единой, неповторяемой. Тогда история может вложить нужное содержание в этих просыпающихся людей; и оно должно быть воспринято свободно, сознательно, без насилия. Скептики, усталые души и всякие насильники могут бояться босяка, но Мережковскому это не пристало. В русской литературе существует обожествление «мужичка». Он жаждет вечной правды, у него глубокое внутреннее содержание, и т. д., и т. д. Здесь сходятся и Толстой, Достоевский, и... Златовратский. Но откуда же босяки? Что же они, с неба свалились? Они не дети русского народа? Не правильнее ли думать, что русский мужичок до сих пор еще овца в том стаде, которое пасется нагайками самодержавно-православных пастырей, что добродетель его зависит в большой степени от его овечьего облика, а пресловутое «внутреннее содержание» от «нагайки». Конечно, превращение крестьянской овцы в анархического босяка, т. е. идейный рост русского народа, находится в связи с социально-экономическим процессом. Но прямую причинную связь установить здесь, как это делают марксисты — трудно. Когда-то была в моде теория «бюхнеро-молешоттовского» материализма, по которому сознание считалось функцией мозга³. Теперь в современной психологии эта теория заменена учением о психо-физическом параллелизме. Думается, что такой же параллелизм существует и в историческом процессе. Физика общества развивается параллельно с его психикой, и ставить вторую в причинную зависимость от первой — уж очень примитивно, так же как примитивно ставить физику в прямую зависимость от психики. Если марксисты игнорируют психику, то все романтики русского крестьянства и христианства — игнорируют физику, пренебрегают развитием тела народного, дифференциацией его организма. Отсюда их глубокое, коренное реакционерство, их вечная возня с реставрационными идеалами. «Народ — православный и самодержавный, все же теории прогресса, социализма и пр. — от лукавого» (Достоевский). «Народ — прежде всего мирный земледелец, ненавидящий всякое насилие, семьянин, не нуждающийся ни в каком прогрессе. Его идеал Китай, а потому революции, основанной на насилии, ему не нужно» (Толстой). Идейно и Толстой, и Достоевский — два, может быть,

самых революционных писателя в мире, но как только они сталкиваются с плотью истории, с ее живым телом, которому становится тесно, как горьковскому босяку, — они превращаются в беспощадных реакционеров. Боязнь «Грядущего Хама» есть тоже вид недоверия к росту народной плоти. Сомнение в том, что она развивается параллельно с душой. Здесь есть отрывка христианского спиритуализма, от которого Мережковскому следует отделаться не только идейно, но и органически, всем своим существом.

Как художник, Горький бесстрашно нарисовал нам «голого» человека и заложенную в нем разрушительную силу: — «пусть все скачет к черту на куличики».

Но во имя чего это всемирное разрушение? Во имя «ничего» — утверждает Мережковский и ужасается. Так ли это?

«Во-имени» у «босяка» действительно нет, пока еще нет. Одна голая ненависть ко всему окружающему, даже к миру, но кто будет утверждать, что в этой ненависти нет ничего творческого?

«Иной раз думаешь, думаешь. И вдруг все исчезнет из тебя, точно провалится насквозь куда-то. В душе тогда, как в погребке, темно, сыро и совсем пусто. Совсем ничего нет. Даже страшно... как будто не человек, а овраг бездонный...»

Откуда эта пустота? Разве она уж так безнадежна и не жаждет наполнения? И не результат ли она инстинктивного освобождения от ложного содержания, от голого «имени», прикрывающего ложь и неправду? Русский народ так долго мучился, скрюченный в тисках теологического насилия, православие и самодержавие, кичась именем Бога, до такой степени искалечили его, что он в этом имени естественно увидел источник всех своих бедствий, всех совершаемых насилий. По инстинкту самосохранения народ отшатнулся от этого имени, обнажился, оголился и стал на перепутьи, готовый воспринять новое, праведное содержание, святое имя, ради которого стоило бы сплотиться и идти дальше. Слишком страшно быть «бездонным оврагом». В этом он сам признается. И надо быть маловерным, чтобы не надеяться, что в эту опустошенную душу может упасть благодатная роса правды положительной, творческой.

Мережковский хочет верить, но сомнения порой одолевают его; Горький же думает, что он уже нашел «имя» для опустошенной души, нашел рычаг для приложения босяцкой силы и рычаг этот — социализм.

Здесь начинается у Горького романтическая сентиментальность дурного тона, здесь начинается калечение Горького-ху-

дожника — Горьким-социал-демократом. Чисто внешне, механически, не задумавшись над трагичностью проблемы, Горький впахивает босяка-анархиста в кузов товарищей-социалистов. Этим он уничтожает правду «босяка», его инстинктивную жажду абсолютной, единой, неповторимой личности — ибо относит его страдания на счет «среды и условий», для Горького социал-демократа — «босяк» из общечеловеческого превращается незаметно в социально-экономический тип.

Одно из двух: или глубина выведенных Горьким типов только кажущаяся, и тогда босяки его самые обыкновенные, разукрашенные романической бутафорией, отбросы капиталистического строя, которых, конечно, социализм сметет без остатка, или в социально-экономическом типе босяка проявились присутствующие всякому сильному человеку противообщественные, анархические тенденции, разрушительные эгоистические стремления героя «Записок из подполья» Достоевского. Эти стремления одними социально-экономическими условиями не объяснишь. Антиномия между свободой личности и благом общества, между индивидом и обществом была всегда, и социализм ее не устранил. Конечно, социалистическое государство может конкретно, при помощи насилия, искоренять все противообщественные тенденции, но метафизически он преодолеть их не может. «Босяк», также как и всякий индивидуалистический анархист — для социал-демократа неуязвим. Надо думать, что эта антиномия когда-нибудь разрешится, но пока что социализм и анархизм находятся метафизически в положении непримиримой антитезы. Горький прошел мимо этой проблемы. Не то он ее не заметил, не то не захотел заметить. Как художник, он бессознательный анархист, но как гражданин земли русской — он убежденный социал-демократ. И чем больше рос в нем гражданин, тем более умаялся художник, вся сила которого была в протесте против всякой гражданственности. Здесь Леонид Андреев оказался гораздо сильнее своего друга. Он пошел до конца, посмотрел прямо в лицо противоречиям, в которых обречен жить человек и написал «Савву», вещь во многих отношениях, может быть, и неудачную, но сильную, жизненную и глубокую. Не зная, как разрушить антиномию, — Андреев, по крайней мере, обострил ее. Горький же думал подсластить горечь «босяка» сахаром социализма и, конечно, из этого ничего не вышло. Босяк остался непобежденным, а Горький запутался и превратился в банального фельетониста.

III

Я не знаю, бывал ли Горький раньше в Европе. Во всяком случае в своих последних вещах — «В Америке» и «Мои интервью» — он впервые касается «Европы» — и касается очень неосторожно. Европы не победил, а себя осрамил.

Он не знает Европы, но, кроме того, он совершенно не уяснил себе, чего от Европы, собственно, он требует, и художественное чутье не пришло ему на помощь, не подсказало ему, что нарушение меры ведет к уродству. Его гнев — искренний, его упреки во многом справедливы. Но, направленные не по адресу, облеченные в жалко ходульные слова, они только комичны. Европейцы презрительно улыбнулись и — перешли к очередным делам. Вопли Горького получили неизгладимую печать «ридикюльности» *. И «гнилая Европа», в данном случае совершенно права. Слишком мало знает и любит Горький правду европейской культуры, чтобы сметь нападать на ее неправду. Может быть, никто из русских так не ненавидел Европу, как Достоевский. Но она была для него кладбищем с дорогими для него покойниками. «Зимние заметки о летних впечатлениях» — это сплошное проклятие европейскому буржуазному Валу.

«Да, выставка поразительна, — говорит Достоевский о лондонской выставке 1865 года, — вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира в единое стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам от чего-то становится страшно. Уж не это ли в самом деле достигнутый идеал — думаете вы: не конец ли тут? Не это ли уже и в самом деле “едино стадо”? Не придется ли принять это и в самом деле за полную правду и занеметь окончательно? Все это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара — людей, пришедших с одной мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воочию совершающееся. Вы чувствуете, что

* от фр. *ridicule* — смешной. — *Ред.*

много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтобы не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, т. е. не принять существующего за свой идеал... Если бы вы видели, как горд тот могучий дух, который создает эту колоссальную декорацию, и как гордо убежден этот дух в своей победе и торжестве, то вы бы содрогнулись за его гордыню, упорство и слепоту, содрогнулись бы и за тех, над кем носится и царит этот дух».

Описывая далее субботний «шабаш» лондонской рабочей бедноты, ее пьянство, разврат, Достоевский замечает: «Вы чувствуете, глядя на этих париев общества, что еще долго не сбудется для них пророчество, что еще долго не дадут им пальмовых ветвей и белых одежд, и что долго еще будут они взывать к престолу Всевышнего: «Доколе, Господи». Эти миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру людского, толкаясь и давя друг друга в подземной тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ощупью стучатся хоть в какие-нибудь ворота и ищут выхода, чтобы не задохнуться в темном подвале». «...Но когда проходит ночь, и начинается день, тот же гордый, мрачный дух снова царственно пронесется над исполинским городом. Он не тревожится тем, что видит кругом себя днем. Ваал царит, и даже не требует себе покорности, потому что в ней убежден».

Через двадцать лет, Достоевский почувствовал, что Ваалу грозит неминуемый и скорый конец. «Да она накануне падения, ваша Европа, — писал он в «Дневнике писателя», обращаясь к проф. Градовскому, — повсеместного, общего и ужасного... Грядет четвертое сословие, стучится и ломится в дверь, и если ему не отворят, сломает дверь... На компромисс, на уступки не пойдет, подпорками не спасете здание. Уступки только разжигают, а оно хочет всего. Наступит нечто такое, чего никто и не мыслит. Все эти парламентаризмы, все исповедываемые гражданские теории, все накопленные богатства, банки, науки, жида, все это рухнет в один миг и бесследно». «И вот пролетарий на улице. Как вы думаете, будет он теперь по-прежнему терпеливо ждать, умирая с голоду? Нет, теперь уж не по-прежнему будет: они бросятся на Европу, и все старое рухнет навеки».

Достоевский боялся этой финальной катастрофы потому, что он любил Европу и не верил в правду социализма, в этот, как он говорит, «муравейник» безличных, неодоухотворенных существ. Он твердо верил, что Европу, погибающую от внутренних противоречий, спасет Россия, она будет последним оплотом, той скалой, о которую разобьется волна разрушения.

«О, народы Европы и не знают, как они нам дороги. И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указав исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей».

Прав ли Достоевский, пророк ли он революции или реакции — это другой вопрос. Но ясно одно: сознавая нелепость и гнусность европейского буржуазного строя, ненавидя его всем существом своим, он, вместе с тем, отлично понимал его глубину, всю его дьявольщину, весь его пленительный соблазн. В окончательную победу социализма над буржуазией он не верил, потому что не верил в возможность атеистического устройства людей на земле. Всякое человеческое, только человеческое устройство основано на внешнем принуждении, на ограничении личности, индивидуальности; а личность никогда не согласится превратиться в органнй штифтик или фортепианную клавишу и, для того, чтобы проявить свою глупую волю, готова все благополучие послать к черту. Созданная европейской атеистической культурой идея человекобога — «человек все и все для человека» — есть идея в корне своем антисоциальная, анархическая, разрушающая основы социализма. Достоевский ужасался грядущему хаосу, и с отчаянием цеплялся за Россию, за народ Богоносец, который спасет Европу от последнего поругания, спасет ее дорогие нам, русским, могилки, воскресит погребенных в них мертвецов. Вся ненависть его к Европе и произошла-то, может быть, от великой к ней любви и жалости, от великого, воистину вселенского, страдания за человека и человечество.

Совсем с другой стороны, и к гораздо более сильному, потому что безнадежному, отчаянию пришел типичный западник Герцен. Он ехал в Европу, полный надежд и упований, но жалкий конец революции 1848 года разочаровал его. Под впечатлением пережитого он написал «С того берега», одну из самых грустных и безнадежных книг. Он посвятил ее своему пятнадцатилетнему сыну, Саше. «Я ничего не писал лучшего, вероятно, ничего лучшего не напишу», — говорит он в предисловии. Опустошенная душа Герцена обнажает здесь все свои муки. Герцен вопит, кричит от внутренней боли, прощаясь с дорогой ему Европой, переправляясь на «другой берег».

«Прощай, отходящий мир, прощай Европа, Париж! Как долго это имя горело путеводной звездой народов. Кто не лю-

бил, кто не поклонялся ему — но его время миновало. Пускай он идет со сцены». Единственное, что Герцен надеялся спасти из этого разрушения — это независимую личность: «Мы не съедем гавани иначе, как в нас самих, в сознании нашей беспредельной свободы, нашей самодержавной независимости».

Западник, атеист Герцен — во многом сходится со славянофилом Достоевским. И разве глава «*Omnia mea mecum porto*»* (из книги «С того берега») не тот же вопль самодержавной, абсолютной личности, человекобога, что и безумные желания героя «Записок из подполья», послать все человеческое благополучие к черту, лишь бы пожить по своей глупой воле, не превратиться в органический штифтик. Но Достоевский не остановился на этом анархическом индивидуализме. Он пошел дальше, к мечтам о теократии. Герцен же дальше не пошел, и на всю жизнь в душе остался раскол, тяготение к социализму, сопряженное со страшным от него отталкиванием. Достоевский ни минуты не сомневался в гибели Европы, и верил, что спасти ее может лишь Россия. Герцен также ясно видел ее грядущую гибель, но не хотел в нее верить, и с горечью в душе отстаивал тот самый социализм, с которым инстинктивно боролось все его существо, его абсолютная, самодержавная личность. Вне Европы, которая идет к своей китаизации, он спасения нигде не видел и не мог видеть, но это спасение было для него хуже всякой гибели. Здесь самая глубокая его жизненная трагедия. Достоевский верил в разрешение этой трагедии — но в другой плоскости, в религии. Герцен этого не допускал. Однако они оба относились к Европе, к ее культуре и идее в высшей степени трагически.

Но вот в Европу явился кумир наших дней, Максим Горький. Человек, вышедший из глубины русского народа, социалист, взявший всю свою, какая бы она ни была незначительная, культурность с Запада, выученик Европы, автор пресловутого «Человека». Что увидел он в Европе?

IV

С легкостью и невинностью почти Хлестакова, как будто до него на Европе никто из русских не переломал себе зубов, Горький поведал миру о том, что он Европой недоволен.

* «Все свое ношу с собой» (лат.). — Ред.

Может быть, и действительно Европа безобразна, может быть, русскому она в особенности должна казаться безобразной; но Горький сделал ей выговор таким тоном, проявил такое незнание и непонимание сущности европейства и, главное, поход свой облек в такую нехудожественную форму, что у всякого мало-мальски беспристрастного человека является непреодолимое желание встать за Европу горою.

Мы видели, что Достоевский и Герцен были убеждены в грядущем торжестве социализма. Европейское торжество Ваала им казалось недолговечным. Они слышали подземный гул выходящего на свет пролетариата, они не сомневались, что все буржуазное благополучие полетит не сегодня-завтра к черту. Их опасения заключались не в том, что буржуазия будет торжествовать бесконечно, а в том, имеет ли грядущий социализм достаточно нравственных сил, чтобы обновить человечество, есть ли в нем руководящая идея, которая объединила бы людей и не повела их к худшей вражде и ненависти. Правы ли Герцен и Достоевский — вопрос другой, но ясно, что будь они, как Горький, рядовыми социал-демократами, верь они, что за социализмом полнота правды, — совсем не такими пессимистическими глазами смотрели бы они на Европу. Они бы грустили только, что буржуазный Ваял рушится не с той быстротой, как хотелось бы. Положение Горького другое. Он считает себя правоверным социалистом. В творческой идее социализма он не сомневается. Но если так, чего же ждет он от буржуазной Европы? С какой стати обращается к ней с поучениями и выговорами? Ясно, что современная Европа есть уже прошлая, а грядущая, социалистическая, — не может же вызывать неудовольствие со стороны Горького. Однако, Горький забыл, что он социалист, социализма в Европе не заметил, или не захотел заметить, и обрушился со всей силой своих бутафорских выкриков, на французскую буржуазную республику, поставив между нею и Францией знак равенства. На это даже самый умеренный французский социалист мог бы ответить: зачем вы с таким шумом ломитесь в незапертую дверь? Открыли Америку, нечего сказать. Мы охрипли от постоянной ругани с нашими правящими классами, а вы, как будто мы не существуем, как будто мы недостаточно поработали — с наивной серьезностью ругаете банкирскую буржуазию и считаете, что Франция исчерпывается парламентами, капиталистами и ростовщиками. А мы-то разве не Франция? Разве мы не ее будущее?

Но Горький, увлеченный «художественными» образами и душащей его страстью к остроумию, считает, что Франция бан-

киров и есть подлинная Франция. «Ее лицо теперь было нездоровым лицом женщины, которая много любила... Искусно подведенные глаза беспокойно бегали с предмета на предмет, ресницы устало опускались, прикрывая опухшие веки... Она обрюзгла, растолстела, и было ясно, что этой женщине теперь гораздо ближе поэзия желудка, но не великая поэзия души, что грубый зов своей утробы она яснее слышит, чем голос правды и свободы, гремевший некогда из уст ее по всей земле». Эта престарелая кокотка предложила Горькому вполне естественный вопрос: «Вы говорите по-французски?» На что честный Горький ответил: «Нет, сударыня, я говорю только правду». (Престарелая кокотка, привыкшая к остроумию шикарных бульвардье, вероятно, искренно подивилась такому ответу.)

Социалисту совсем нечего лезть к престарелой, избалованной кокотке с моралью, благородными фразами и попутно срамить себя топорным остроумием. А Горький даже не задумывается над нелепостью своего визита. И, выйдя от нее возмущенный, раздражается тремя страницами плохой, якобы бичующей прозы.

Он стыдит старую кокотку, сначала памятью Вольтера. «Франция! Ты должна пожалеть, что его уже нет — он теперь дал бы тебе пощечину. Не обижайся. Пощечина такого великого сына, как он — это честь для такой продажной матери, как ты».

И вовсе это неверно. Вольтер никакой бы пощечины не дал, а облобызал бы старого Комба⁴, и погладил старающегося Бриана⁵. *Ecrasez l'infame* * — кричал в свое время покойный, и потомки его, современные комбисты, в точности исполняли приказание великого Вольтера. Он тихо радовался бы и, вероятно, как истый буржуа, начал бы изливать свою желчь... на социалистов.

После Вольтера Горький взывает к памяти В. Гюго. «Трибун и поэт, он гремел над миром подобно урагану, возбуждая к жизни все, что есть прекрасного в душе человека». (Надо ухитриться, чтобы до такой степени банально охарактеризовать В. Гюго.) «Гюго отвернулся бы от той Франции, которая шла впереди народов со знаменем свободы в руке, с веселой улыбкой на прекрасном лице, с надеждой на победу правды и добра в честных глазах» **.

* К ногтю подонков общества (фр.). — *Ред.*

** Эта фраза напоминает те латинские *extemporalia*, которые нам предлагали в свое время для перевода на латинский язык гимназические учителя древних языков. Это какой угодно, только не рус-

Что-то тоже не верится. Сентиментальный, социализирующий Гюго, вероятно, радовался бы учреждению биржи труда, говорил бы надутые речи, и наслаждался почетом, а уж что касается приводимого Горьким авторитета Флобера, то здесь наш обличитель прямо сел в лужу. «Жрец красоты, эллин XIX века, научивший писателей всех стран уважать силу пера, понимать красоту его, он волшебник слова, объективный как солнце, освещавший грязь улицы и дорогие кружева одинаково ярким светом, даже Флобер не простил бы тебе твоей жадности, отвернулся бы от тебя с презрением». Вдаваться в художественную оценку этих полуграмотных банальностей не буду. Видно, что самого Горького Флобер не научил «уважать силу пера». Но что бы делал теперь Флобер? Да как в свое время он презирал вся и всех, так и теперь, вероятно, издевался бы над этими sales bourgeois, pignoufs etc.* и не нашел бы никаких новых, специальных причин, чтобы «отворачиваться» от Франции.

Я нарочно так долго остановился на именах, которые приводит Горький для посрамления современной Франции. Самый их выбор показывает, насколько Горький беспомощен и как смутно он представляет себе, что такое Франция, к какой именно Франции он обращается. С легкомыслием варвара он бросил вызов всей Франции. «Прими и мой плевок крови и желчи в глаза твои», — кончает он свое «обличение». Но Франция и не почесалась, а за Горького стыдно. Стыдно, потому что сам-то Горький рассчитывал, очевидно, что слова его произведут громадный эффект. Он имел известный экзотический успех в Европе, и что называется — возомнил о себе. Изрек проклятие Европе и думал, что Европа ужаснется. Но она не ужаснулась уже потому, что слишком избалована в эстетическом отношении. В манифестах Горького она прежде всего увидела плохую литературу. Затем она корректно, но настойчиво заметила Горькому, что есть Франция и Франция. Тогда Горький спохватился, и в своем ответе, помещенном сначала в газете «L'Humanité», а затем по-русски в журнале г. Амфитеатрова «Красное знамя» (1906 г. № 6) он разъяснил, что говорил «Фран-

ский язык. Знамя в руках, улыбка на лице, надежда в глазах. Кажется, что улыбка и надежда тоже вещественные атрибуты, вроде знамени. Но какая «надежда» — уж окончательно не разберешь. Догадаться, что «в честных глазах» относится к «надежде», мудрено.

* грязные буржуа, хамы (фр.). — Ред.

ции банков и финансистов, Франции полицейского участка и министерств»; если же чем обидел французских буржуа, то нисколько не раскаивается, потому что ему, «социалисту, глубоко оскорбительна любовь буржуа».

Ответ свой Горький разбил на две части. Первая написана по адресу известного историка Олара⁶, и полна вежливых и глубоко комичных расшаркиваний. «Вашу книгу о днях эпической борьбы французского народа с насилием читает русский пролетариат. По ней он учится умирать за свободу, необходимую ему, как воздух», — говорит Горький. Этот комплимент звучит в устах «социалиста» Горького довольно странно. Книга г. Олара хороша, но написана с точки зрения радикала, вполне довольного нынешним строем Франции, демократа-республиканца, видящего в современной республике осуществление идеала великой революции. Было бы еще понятно, если бы Горький восхитился социалистической историей революции, написанной Жоресом, но увлечение Оларом необъяснимо. По этому маленькому примеру ясно, как примитивны сведения Горького по политической и социальной истории Франции. Вторая Половина ответа обращена к Жеро-Ришару⁷ и Рене Вивиани⁸, в своих политических взглядах стоящих крайне близко к Олару. Здесь Горький не расшаркивается. Почему? Если Олар в глазах социалиста Горького не буржуа, то совершенно такие же не буржуа Вивиани и Жеро-Ришар.

Но главный недостаток разъяснительного ответа Горького это — что он ничего не разъясняет. Как бы Горький ни увертывался, в интервью с прекрасной Францией он говорил о Франции вообще, а не о Франции банкиров и финансистов. Здесь двух мнений быть не может. Иначе к чему Вольтер, В. Гюго, Флобер? Ему, как социалисту менее всего позволительно смешивать две Франции, поработленную и торжествующую. Герцен и Достоевский подошли к Западу со вселенской точки зрения, с философскими запросами. Их интересовали судьбы всего человечества, его будущее, и они мучительно сомневались, не идет ли Запад к гибели, и не повлечет ли он за собою все человечество. Горький чужд всякой метафизики, всякой философской точки зрения. Его риторика сводится в конце-концов к недовольству на французов за денежную ссуду русскому правительству. Не спорю, ссуда эта французской буржуазии чести не делает. Но разве социалист Горький мог ждать чего-нибудь другого от буржуазии? Если бы буржуазия преисполнилась социалистическими идеями и проводила их в жизнь, она этим самым перестала бы быть буржуазией. Социалисту

Горькому не пристало заниматься такими иллюзиями... Или он, начитавшись Олара, действительно вообразил, что нынешняя французская республика вся насквозь пропитана идеями великой французской революции?

Кроме интервью с «Прекрасной Францией», Горький написал еще несколько других. На них останавливаться не стоит. Такие же потуги на остроумие, насмешки над манией величия воображаемых собеседников, манией, которой страдает прежде всего сам Горький. Претенциозное предисловие автора — самое наглядное тому свидетельство.

V

Но вот Горький попал в Америку.

Мы, европейцы, в сущности мало знаем об этой загадочной стране, а что знаем, как-то от нее отталкивает. Нам кажется, что в Америке все взято из Европы и нет ничего своего. Удивительная ничтожность духа и фантастический культ вещей. Кроме того, европейцу чужда страна, лишенная истории, начавшая жить, как ему кажется, прямо с конца, т. е. с девятнадцатого века. Европу украшают могилы, наследие великого прошлого. Если бы в Париже не было Notre-Dame — Эйфелева башня давила бы своим легкомысленным и уродливым кружевом из стали. Представим теперь себе громадную богатую страну, где кроме Эйфелевой башни ничего нет. Так-таки ничего. Никакой истории, славных традиций, никакого искусства, литературы, философии. Голый капитализм, культ Ваала, торжество материи.

Если Америка действительно такова, как она представляется европейцу, она достойна ненависти. Но можно ли полагаться на мнение европейцев, на впечатления туристов? Не слишком ли они субъективны? Чтобы понять душу народа, надо смотреть на нее изнутри, а не извне. Но способны ли на это обыденные туристы-литераторы, столь щедро одаривающие нас своими «американскими впечатлениями»? Рассказы про чудеса заокеанской техники набили нам оскомину, но как мы мало знаем природу Америки, жизнь ее земледельца, религиозные искания американцев, их бесчисленные секты.

Исчерпывается ли Америка так называемым «американизмом»? Горький утверждает, что да, и, по-видимому, утверждает искренно, ибо таково его впечатление. Но можно ли довериться его впечатлению?

Я вовсе не хочу защищать Америку. «Американизм», может быть, самое позорное, что создала современная культура, но только я не могу допустить, чтобы «американизм» исчерпывал сущность этой страны и чтобы поверхностные и банальные впечатления Горького могли бы как-нибудь определять наше отношение к Америке. Все, что рассказал нам Горький — известно и переизвестно. Даже какой-нибудь Поль Адам⁹ или Поль Бурже¹⁰, два преуспевающих французских литератора, сумели, не смотря на всю свою несерьезность, дать нам более живую, интересную картину Америки, чем Горький. Худо ли, хорошо ли, но они старались войти в местную жизнь, в психологию американца, искали в нем те черты, которые отличают его от европейца. Горький же описывает Америку из окна гостиницы или с империала электрической конки. Общие впечатления туриста, мало образованного и не знающего языка. Притом Поль Бурже и Поль Адам отлично знали, чего они хотят и чего ждут от Америки. Чего же ждал и чего хотел Горький — решительно неизвестно. Так описывал бы Америку всякий провинциальный журналист, которому нужно написать определенное число фельетонов.

«Город желтого дьявола» озаглавил Горький очерк, посвященный Нью-Йорку.

«Кажется, что где-то в центре этого города вертится со сладострастным визгом и ужасающей быстротой большой ком золота; он распыливает по всем улицам мелкие пылинки, и целый день люди жадно ловят, ищут, хватают их. Но вот наступает вечер; ком золота начинает вертеться в противоположную сторону, образуя холодный огненный вихрь, и втягивает в него людей, затем, чтобы они отдали назад всегда больше того, сколько взяли, и наутро другого дня ком золота увеличивается в объеме, его вращение становится быстрее, громче звучит торжествующий вой железа. его раба, и всех сил, поработанных им. И жаднее, с большей властью, чем вчера, оно сосет кровь и мозг людей, для того, чтобы к вечеру эта кровь и мозг обратились в холодный, желтый металл. Ком золота — сердце города. В его биении вся его жизнь, в росте его объема весь смысл его... Для этого люди целыми днями роют землю, куят железо, строят дома, дышат дымом фабрик, всасывают порами тела грязь отравленного больного воздуха, для этого они продают свое красивое тело. Это скверное волшебство усыпляет их души, оно делает людей гибкими орудиями в руке желтого дьявола и рудой, из которой он неустанно плавит золото, свою плоть и кровь...»

Точно эта цитата — из гимназического сочинения на тему «о вредном влиянии города на нравственность человека». В очерках Горького много сентиментальности, жалости к людям, словом, много добрых чувств, но нет ни художественного творчества, ни какой бы то ни было руководящей мысли. Если бы Горький был сознательнее, хоть немного разобрался в своем отношении к Западу вообще, и к Америке, в частности, если бы он понял, что не так-то легко быть одновременно и индивидуалистом и социалистом, — на его американских очерках отразились бы так или иначе его идейные переживания, он осветил бы их руководящей мыслью или настроением. С другой стороны, если бы он послушался только своего художественного инстинкта, а инстинкт этот у него чисто разрушительный, он, может быть, дал бы нам искренние страницы стихийного гнева, бунта человеческой личности против гнета вещей.

Но Горький остановился на середине, на полусознании. Всем существом своим он анархист. Здесь его сила, только здесь, в этом безудержном босячестве проявляется его талант. Но к этому бессознательному стихийному анархизму он прицепил самый поверхностный, непродуманный социализм, и ходячий уличный материализм, соединенный с детским культом человека в кавычках. Если действительно «все человек и все для человека», если «человечество» есть центр мироздания, то гнев Горького — ни на чем не основан.

Казалось бы, Америка именно та страна, где торжествует свободный от всяких предрассудков человек. В Америку человек приехал налегке. Его не давили сорок веков истории. Он был свободен от страшной власти церкви; воевать ему было не с кем. Беспредельный океан защищал его от внешних врагов, внутри же бродили жалкие остатки вымирающих индейцев, страшных только для европейских гимназистов. Казалось бы, все данные, чтобы создать царство счастья и благополучия, царство воспетого Горьким человека в кавычках. Однако Горький не порадовался, а ужаснулся и был в своем ужасе, конечно, прав.

Горький мог бы себя утешить тем, что американцы не люди, а буржуа. Что там за океаном царствует золото, царствует капитализм. А мы хорошо знаем, что такое капиталистический строй. Именно он и уничтожает человека, искажает образ его, превращает его в зверя; но ведь мы знаем также, что капитализм сам себе копает яму. Он создал пролетариат, и чем больше развит в стране капитализм, тем сильнее в нем классовая борьба, тем дружнее, сплоченнее и сознательнее в нем пролета-

риат. Именно в буржуазных странах, с развитой промышленностью, под старой слезающей шкурой капитализма должна чувствоваться новая кожа будущего строя. Горький, социалист Горький, должен был ее ощутить особенно резко. Уж если где, так именно в Америке он должен был увидеть организованные, революционно-настроенные массы, мощный пролетариат, который не сегодня-завтра свергнет с себя иго капитализма. Но социалист Горький этого не увидел, он забыл, что он социал-демократ.

Один из своих очерков он посвящает толпе, той массе людей, кровь которых сосет этот желтый дьявол. Горький описывает «досуги» толпы, тот воскресный отдых, к которым столь страстно стремится пролетариат. Удовольствия чисто звериные. Жалкие шарлатаны, фокусники, клоуны, которые вытягивают у рабочих последние их гроши, кабатчики, которые их одурманивают. «Все это белокожие дикари, — говорит Горький об этой толпе, — которая только ощущает, только видит. Она не может претворять своих впечатлений в мысли, душа ее нема и сердце слепо».

И когда жалкий праздник кончается, «в желоб улиц молча и угрюмо идут разорванные, разрозненные люди».

Но если так, то чем отличается отношение Горького к западной культуре от отчаянных воплей Герцена, Достоевского? Кажется, только своей нехудожественной претенциозностью и плоской банальностью. Больше ничем. Герцен ужасался, не верил в возрождение этих «дикарей». Достоевский искал спасения в «народе-богоносце», а Горький, Горький, сам того не зная, подкопал тот социализм, в который он искренно верит.

Он увидел только одну властвующую, буржуазную Америку. Если в своей полемике с французскими журналистами Горький старался уверить нас, что он говорит только о Франции банкиров, то этой увертки по отношению к Америке ему сделать нельзя. Он говорил о всей Америке, о ее верхах и низах. Он ужасался «разрозненности» этих низов, не объединенных никакой организацией, покорно подчиняющихся своим эксплуататорам. Всякий, кто поверил Горькому, решит, что в Америке социализма нет и быть не может*.

* Я, конечно, не вхожу в рассмотрение вопроса: почему американское рабочее движение столь мало революционно, и какие специфические причины задерживают там развитие социализма. Мне только хотелось указать, насколько не продуман социализм самого Горького и поверхностны его впечатления об Америке.

Вряд ли такое пессимистическое заключение входило в намерения «социалиста» Горького. Или он, может быть, гораздо более верит в торжество социальной правды в России, чем на Западе, родине социализма? Но не измена ли это ортодоксальному марксизму?

В конце XIII тома «Знание» помещено его небольшое воззвание «Товарищ». Приводить цитаты из этой провинциальной прокламации доброго старого времени — просто неловко. Стыдно за Горького, и за русскую литературу.

Он рассказывает нам, как магическое слово «товарищ» преобразило русскую жизнь. И проститутка, и извозчик, и полицейский — все поддались обаянию этого слова. «На улицах мертвого города, в котором царила жестокость, росла и крепла вера в человека, в победу над собою и злом мира».

Откуда появилось это новое слово? Горький утверждает, что это «простое светлое слово» было брошено «одинокими мечтателями», «полными веры в человека». «Они тайно приносили с собой в подвалы всегда плодотворные, маленькие семена простого и великого учения».

Что же, на Западе нет и не было таких «одиноких мечтателей»?

Отчего слово «товарищ» не сияет там «яркой веселой звездой, путеводным огнем в будущее?» Отчего там, где, казалось бы, это благодатное слово должно было звучать с особой силой, по улицам «молча и угрюмо идут разрозненные люди»?

Или это удел русских — воплотить то, что невоплотимо на Западе? Но тогда с другого конца мы приходим все к тому же народу богоносцу, потому что, повторяю, нет никаких научных, строго обоснованных данных, которые указывали бы, что торжество социализма более возможно в России, чем на Западе. Социалистическая наука, как мы знаем, доказывает как раз обратное. Слишком ясно, что в магическое слово, объединяющее полицейского с извозчиком и проституткой, Горький вкладывает общечеловеческое, а не только классовое содержание, что он бессознательно гораздо больше верит в человека, чем в класс. В России, каковы бы ни были классовые противоречия, благодаря общему врагу, совершилось некоторое внеклассовое объединение людей, союз жаждущих бытия личностей, стоящих на разных ступенях развития и сознания, но стремящихся прежде всего к завоеванию своего человеческого достоинства. Вопреки ортодоксальному марксизму, в основе этого, казалось бы, чисто стихийного движения лежит все то же вечное, может быть, не всегда сознаваемое, но абсолютное человеческое я.

VI

Как пошехонец, Горький заблудился в двух соснах, в анархизме и в социализме.

Горький-художник прежде всего индивидуалист. Если в нем есть что-нибудь ценное, яркое, это именно бунт личности против общества, «я» против «не я», против мира и Бога. Темпераментом, психологией своей он анархист. С этой точки зрения его босяк из социально-экономического типа подымается до высоты абсолютной человеческой личности, до богоборчества. Бунт этот не вмещается в рамки социальные, в теорию классово-вой борьбы и т. д. И когда Горький поехал на Запад, когда он увидел мещанское царство золотого дьявола, тупую грубую тоску «белых дикарей», угнетаемых золотом, он инстинктивно восстал против ужаса жизни. В нем проснулся старый, бунтующий «босяк индивидуалист». Но из этого бунта ничего не вышло. Сознание, вернее полусознание, самые банальные верхушки общераспространенного миросозерцания интеллигента-социалиста, убило в нем его не сильное художественное дарование. Пробуждавшаяся, жаждавшая света личность Горького-художника поникла под тяжестью примитивного материалистического миросозерцания, этого дешевого товара, столь распространенного в полуинтеллигентных массах, этой дурной болезни, унаследованной современным социализмом от вымирающей буржуазии. Может быть, внутренняя трагедия Горького — символ той трагедии, которая разыгрывается в современном социализме. Органически — современный пролетариат глубоко революционен, воистину свят в своей неутолимой жажде света, правды, справедливости. Его пафос — чисто религиозный, хотя, конечно, бессознательно. Все бескорыстные подвиги этих людей ради лучшего будущего, до которого ни один из них сам не доживет, их постоянное самопожертвование, забвение ближайших выгод — говорят о громадном запасе нравственных сил, о горячей вере, о живом огне. Но самый объект этой веры, содержание ее — пролетариат заимствовал от той же ненавистной ему буржуазии. В социалистической литературе с утомительным однообразием повторяется мнение, что всякий идеализм, всякий религиозный идеал есть детище буржуазной классовой психологии. Идеология есть одно из орудий классового господства. Это ходячее мнение глубоко неверно. Идеализм, религиозное сознание — удел внеклассовых личностей. Для буржуазии же как для класса типичен именно тот примитивный материализм, который интеллигенты по какому-то не-

доразумению навязывают рабочим массам, не замечая, насколько это буржуазное миросозерцание противоречит всей психологии пролетариата. Культ земли не более как замаскированное возвращение к птоломеевской геоцентрической теории; культ «человечества» в кавычках, обожествление его — это религия современной буржуазии. Вся современная властвующая Франция, та престарелая кокетка, которая вызвала гнев Горького, — покоится на преклонении перед земным благополучием. Отдельные личности, человек не в кавычках, освобождаясь от тины мещанства, подымается над этим, столь любезным буржуазии, миросозерцанием, льнет к идеалу внеклассовому, всечеловеческому, вселенскому, восстает против варварского материализма, ничем не отличающегося от фетишизма папуасов; но именно эти борцы за вечную вселенскую правду, психология которых так близка к революционному пафосу рабочих масс — встречают со стороны вожжаков этим масс непонятную ненависть. Сами того не замечая, вожжаки отравились ядом буржуазной пошлости и почти с изуверством навязывают пролетариату старые фетиши капиталистического строя, сбивают его с толку, надевают на его святой революционный лик тупую маску буржуа. Буржуазия может гордиться, что она потушила «небесные огни», что своими электрическими фонарями, освещающими ночные притоны, она затмила звезды. Кант преисполнялся благоговейным чувством удивления, ощущая нравственный закон в себе и звезды над собою¹¹. Современный житель большого города не удивляется, по той простой причине, что звезд он не может видеть. Освещенные кабаки уничтожают небо, а не видя неба, нельзя увидеть и нравственного закона в себе. Но к этим ли кабацким огням стремится пролетариат? Куда он рвется из темного подземелья, не к солнцу ли, не к свету, не к вселенской правде? Удовлетворится ли его святой порыв этим буржуазным благополучием при потушенных огнях неба и освещенных кабаках?

Индивидуалист, анархист Горький стремился не к этому, Он вызывал всех, весь мир на смертный бой. Его душа жаждала или гибели мира, или его преображения. Но мутный источник материализма — его отравил. К здоровой натуре, к томящейся по вечной правде личности присоединилось поистине варварское миросозерцание, полуинтеллигентская полунаука. Абсолютная личность подменилась культом закованного в причинную связь человека. «Человек — это звучит гордо», — восклицает один из героев Горького. Да, гордо, воистину гордо, но только потому, что внутри него живет абсолютный нравственный закон, а

над ним горит звездами небесный свод. Уткнувшись же носом в землю, подчинив себя целиком закону причинности, человек неизбежно превращается лишь в прах и тлен. Это уже простая логика.

Горький не сумел осмыслить своего индивидуализма. Он чисто внешне, механически соединил его с ходячим материализмом и впал в самую низменную пошлость. Все, что было в нем, как в художнике, яркого и сильного, — исчезло. Неудовлетворенность, искание, бунт, — заменил он самодовольным тоном заурядного демагога. Язык, сильный и красочный в первых его вещах, стал трескучим, фальшивым, и каким-то неумелым, гимназическим.

Нет, уж если художник не в силах осветить свое творчество светом истинного сознания, то пусть он лучше слушает только голос своего художественного инстинкта. Грубое полусознание отравляет самые источники творчества.

Человек, для которого не существует больше никаких вопросов, который залил огонь своей души грязной водой дешевого материализма, не может превратиться в самого среднего, самодовольного буржуа.

1907

